

The background of the cover is a dark, textured red. On the left, there is a large, dense, tangled mass of red, fibrous material, resembling a nest or a thicket of roots. Several black bat silhouettes are flying across the upper half of the cover, with the largest one in the foreground. The title is written in a stylized, white, blocky font with horizontal lines through the letters.

Наше сердце

юрий мельников

18+

Юрий Мельников

Наши сердца

<https://litres.ru/74680124>

SelfPub; 2026

Аннотация

Доктор Лео Гонзалес приезжает в Конго, чтобы расследовать вспышку загадочного вируса. Всё меняет встреча с Имани Нгой - женщиной, чьё появление пробуждает в Лео необъяснимую страсть и заставляет усомниться в самой природе человека. И вскоре научное исследование превращается в путешествие туда, где заканчиваются законы медицины и начинается нечто древнее, живущее по собственным правилам... На что ты готов ради того, кого желаешь? И какую цену придётся заплатить, если однажды ты перестанешь отличать зов сердца от голоса чего-то чужого? И что, если монстр внутри тебя - это и есть ты - настоящий?

Содержание

Пролог	5
Глава первая. Слепота	11
Глава вторая. Витражи	35
Глава третья. Картография раны	47
Глава четвёртая. Симбиоз	68
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Юрий Мельников

Наши сердца

Разбухшие сердца – вы как любви соборы,

В которых просьбы «помилуй» и «славься» звучат.

Душ всех вечерня – свет от часовни, ступеньки к Богу,

Где в час заката трубы органа молчат.

– *Эрих Мария Ремарк*

Пролог

Земля здесь всегда шептала.

Но люди этого не слышали – для людей она молчала, молчала упрямо, глухо, как молчит старик, который знает ответ, но решил, что молчание – единственная честная форма участия в чужой катастрофе. Шептала она самой себе: тонкое, почти неразличимое гудение, идущее из глубины, из трещин, из пор, из того предвечного пространства между камнями, куда не проникал ни свет, ни воздух, ни время в том виде, в каком его понимали те, кто жил на поверхности. Кто-то из рабочих – тот, что работал здесь уже третий год и давно перестал отличать суеверие от геологии – говорил, что это вода. Подземная, рудничная, просачивающаяся сквозь известняк и кварц. Вода, которая шумит, когда течёт по узким жилам, как кровь по капиллярам. Он говорил это уверенно, как говорят о вещах, в которые очень хочется верить, чтобы не сойти с ума до наступления субботы.

Остальные притихли. Потому что звук, который они слышали – каждый слышал, но ни один не признавался, потому что признаться – значило бы превратить звук в факт, а факт уже нельзя было бы отменить даже субботой, даже страхом потери рассудка, – звук этот был слишком низким для воды и слишком ритмичным для мёртвого камня. Он был похож на дыхание. На вдох-выдох, неторопливый, глубокий, – та-

кой, каким дышит то, что спит слишком давно и не собирается просыпаться человеком.

Воздух на глубине ста двадцати метров был твёрдым, угловатым. Его приходилось жевать, с трудом проталкивать в лёгкие вместе с доломитовой пылью, сыростью и металлическим привкусом многовековой, окаменевшей соли. Время здесь не текло, оно крошилось. Вибрация массивного старого перфоратора рвала его на мелкие, зазубренные секунды. *Prrr-tax. Prrr-tax.* Отдача была в плечи, вытряхивая из суставов остатки тепла, превращая людей в покорные, бездумные придатки слепого, ревающего железа. Тьма давила со всех сторон – густая, физически осязаемая масса, пахнувшая спёртым потом, нагретым машинным маслом и остывающей, потревоженной породой.

Они работали в забое последние две недели. Задача была простая, как всё, что делается руками: пройти ещё пару десятков метров по жиле, уточнить состав, зафиксировать координаты. Но в это утро всё пошло не так. Жозеф заметил это ещё в клети, когда они спускались: воздух густел, становился плотнее, будто кто-то добавил в него вес, и каждый вдох оставлял на альвеолах тонкую плёночную сырость.

Звук изменился внезапно. Синкопа. Исчезло тупое, привычное сопротивление камня. Бур резко, без предупреждения провалился в пустоту, взвизгнув вхолостую, как сорвавшийся с цепи пёс. Стена утробно, тяжело вздохнула. Мелкая крошка брызнула под резиновые сапоги, монолит дал тре-

щину, и порода осыпалась с сухим, шуршащим кашлем, обнажив неровный, рваный провал сантиметров шестьдесят в диаметре.

Наступила тишина. Оглушительная, ватная, всасывающая в себя эхо падающего щебня.

Из образовавшейся бреши потянуло пронзительным, невозможным холодом. Это был запах забытых тысячелетий, влажной, первородной гнили и потревоженного глубокого сна – запах самой глубины, извергнутый наружу. Лучи налобных фонарей метнулись в проём, разрезая взвесь пыли жёлтыми, дрожащими конусами. Свет скользнул по невидимым сводам внутренней пустоты. Там, за границей чёткой видимости, шевелились тени. Смутные, пульсирующие сгустки мрака, медленно перетекающие друг в друга, словно чёрная вода под толщей льда.

– Карлос. Фонарь сюда, – хрипло пробормотал Жозеф.

Карлос, коренастый бурильщик с привычкой жевать сухую траву, когда внутри закипал страх, шагнул ближе. Он вцепился мозолистыми, белыми от напряжения пальцами в острый, крошащийся край пролома и заглянул внутрь. Запрокинул голову, пытаясь рассмотреть невидимый потолок пещеры, откуда исходило странное, едва уловимое шуршание, похожее на шелест сухих листьев в безветренном саду.

Сверху сорвалась капля.

Она упала на его грязную, покрытую холодной испариной левую щеку, чуть ниже скулы. Тёплая. Густая. Вязкая

тяжесть неспеша поползла вниз по коже, к уголку обветренного рта. Карлос замер. Машинально стер жидкость тыльной стороной ладони, ощутив кончиками пальцев её противоестественную, почти живую температуру – жидкость была теплее, чем всё, что могло существовать на этой глубине. Он опустил взгляд на руку и направил туда дрожащий луч фонаря.

В резком электрическом свете влага блестела густым багровым гляncем. Свежая. Алая. Кровь. С запахом ладана и цветущей гардении.

– Это кровь, – сказал Карлос. Голос его был ровным – настолько ровным, что эта ровность пугала сильнее крика. Камень над проёмом кровоточил, неторопливо и трудно, будто у породы была плоть, и эту плоть только что вскрыли ржавым консервным ножом.

Прежде чем разум успел осознать этот факт, из недр пещеры ударил звук. Пронзительный, вибрирующий визг на самом пределе человеческого слуха, от которого моментально полопались капилляры в глазах, а челюсти свело судорогой. В нём была высота, невозможная для горла, для гортани, для любых живых связок. Вой проникал не в уши – в кости, в череп, в позвоночник, заставляя тела цепенеть.

Из чёрного зева пролома выплеснулась живая, пульсирующая масса. Огромные летучие мыши – неестественно крупные, с размахом кожистых крыльев более метра – бросились наружу. Чёрная река, текущая против гравитации, против

логики, против самого творения. Они били тугими, холодными перепонками по лицам, цеплялись когтями за пластик касок, рвали одежду в локуты. Возник настоящий, физический ветер, от которого свет налобных фонарей заметался по стенам рваными сполохами. Зрачки тварей – Жозеф успел увидеть это на долю секунды – они были не красными, они были слепыми – светящимися мертвенно-белым, фосфорическим блеском глубоководных чудовищ.

Визг стал невыносимым, порода резонировала, вибрировала в такт этому безумию. Рабочие кричали, закрывая головы окровавленными руками, но их голоса тонули в воющем урагане, как тонут камни в болотной жиже.

Через минуту стая ушла вверх по стволу, к поверхности, оставив после себя лишь свистящее эхо и запах первобытной бойни.

Наступила тишина. Но это была тишина отсутствия звуков, тишина послекатастрофная, когда воздух продолжает дрожать, сохраняя память о насилии. Жозеф опустил руки. Его пальцы были измазаны странной, горячей лимфой. Карлос стоял рядом, не шевелясь, сухая трава так и застыла между его побелевших губ.

И тут фонари на их касках начали гаснуть.

Один за другим. Медленно, будто выпиваемые темнотой. Жёлтые конусы света сужались, тускнели, превращаясь в крошечные, умирающие искры. Рабочие бросились к клетям, но Жозеф замер, не в силах отвести взгляд от пролома.

В абсолютной, наступившей темноте, там, за разбитой стеной, звук дыхания земли не прекратился. Он изменился. Он стал ближе. И сквозь этот ритмичный, глубокий вдох-выдох Жозеф отчётливо почувствовал, как в крошечной тьме что-то огромное, тяжёлое и водянистое неспешно перевернулось на другой бок и сделало первый шаг навстречу.

Из глубины проёма, прямо к его ногам, беззвучно хлынул новый поток тёплой, густой жидкости, забрызгивая сапоги рабочих вязкой, пурпурной влагой.

Глава первая. Слепота

Вентилятор под потолком крутился.

Лео лежал на спине, не шевелясь, и смотрел, как лопасти – три, белые, обшарпанные, с налипшей за долгие годы оранжевой пылью – рассекают душный воздух над ним с ровным, убаюкивающим и страшным упорством. Он видел себя со стороны, сверху, чужим отстранённым взглядом: тонкие простыни, скомканные у влажных ног, голый торс, руки раскинуты в стороны, как у распятого или у того, кто сдаётся на милость победителя, – и вентилятор над головой, неумолимый, как секундомер на гильотине. Лопасты проносились перед потолком, разрезая облупившуюся штукатурку на белые сегменты, и каждый такой сегмент был отдельным кадром, отдельным состоянием его распадающегося сознания. Лео лежал под этим невидимым монтажным столом, чувствуя, как рецепторы плавятся, и не в силах собрать разрозненные мгновения в единую последовательность.

Три лопасти. Восемь оборотов в секунду. Двадцать четыре кадра – столько, сколько нужно человеческому глазу, чтобы неподвижное стало движением, чтобы мёртвое ожило, чтобы обман притворился правдой.

Он знал это из кино. В детстве, в далёком, призрачном Нью-Йорке, отец часто водил его в небольшие кинотеатры на ретроспективы – Годар, Коппола, Тарковский. Он, девять-

тилетний мальчик, сидел в прохладном тёмном зале, вдыхая сладковатый запах изношенного плюша и потёртых кинематографических бобин, смотрел на экран, и экран показывал ему мир, в котором всё было либо медленнее, либо быстрее, чем в настоящей жизни. В этой щели, в этом зазоре между экраном и реальностью, и существовало истинное кино. Там, в «Апокалипсисе», Мартин Шин лежал на постели точно так же: душный потолок, крутящийся вентилятор, лопасти, лопасти, липкий пот, – а потом он вставал и шёл в душ, и мутная вода смывала с него Вьетнам, но на самом деле не смывала ничего, оставляя войну под кожей.

Но песня была другой. И Лео был не в Сайгоне. Лео был в Киншасе. И никакая вода в мире не смогла бы смыть с него то, что осталось на его коже этим утром, – этого было так много, что оно уже проросло внутрь, впиталось в поры, стало частью его собственной биологии.

Чужой пот. Его собственный – тоже здесь, но он был привычным, растворённым, невидимым, как невидим воздух, которым дышишь каждый день от рождения. А поверх него – другой: солёный, тонкий, с тем особенным, мучительным послевкусием, которое оставляет на теле не просто чужая плоть, а пугающая близость, – то, что рождается между вдохом и выдохом другого человека, когда расстояние равно нулю и ты уже теряешь рассудок, не зная, где кончаешься ты сам и где начинается она.

Она.

Воздух в номере – плотный, сырой, тропический, застоявшийся за ночь за закрытыми деревянными ставнями, – хранил в себе пряный запах ливня. Дождь шёл всю ночь. Лео слышал его сквозь лихорадочный сон – или сквозь то, что казалось сном, – крупные, безжалостные капли барабанили по жестяному карнизу с ритмом, похожим на бешеное сердцебиение. Теперь, утром, эта влага висела в комнате плотной взвесью, оседала на стенах, на мутном стекле, на бледной коже, превращая всё вокруг в нечто клейкое, живое, дышащее в унисон. И среди этой душной сырости – ещё один запах, еле ощутимый, цветочный, и абсолютно не его: что-то приторно-сладкое, тёмное, экзотическое, – не так как пахнет парфюм из duty free или туалетное мыло – это был удушающий аромат ночного цветка, растущего в какой-то древней, жирной, не знавшей зимы земле. Этот запах держался в воздухе с упрямством, которое имело физический вес и осязаемую текстуру.

На прикроватной тумбочке темнела бутылка. Местная, дешёвая, с грязной этикеткой, буквы на которой Лео не мог разобрать, потому что они двоились и плясали перед глазами: *Lotoko* – кукурузная водка, перегоняемая в самодельных аппаратах на окраинах, пахнувшая горелым зерном, дымом и техническим спиртом. Рядом, на полу, сиротливо жались две пустые бутылки пива *Primus*, а третья, наполовину полная, тёплая и плоская, стояла у ножки кровати.

Лео с трудом повернул голову. На соседней подушке оста-

лась вмятина. Чужая. Там, где ещё недавно покоилась чья-то голова, ткань была мокрой и пахла тем самым одурманивающим цветочным ароматом. Он наклонился, вдохнул этот след, и в этот момент внутри него качнулся гипнотический маятник – туда-сюда, туда-сюда, – и он с ужасом понял, что помнит и не помнит одновременно. Память его превратилась в решето, в дырявое сито, через которое утекло всё рациональное, оставив лишь животные, чувственные детали: температуру тела, жёсткость коротких волос, прижатых к черепу, обжигающий шёпот и музыку, которая до сих пор звенела в ушах.

...Love is blindness...

Песня играла в баре. Лео помнил это отчётливо. Бар «Ле Кобакабана» – совсем не тот, роскошный, что в Рио, а его конголезский тёзка, уютный в своём убожестве, жалкий, обаятельный, с кривыми деревянными стульями и барменом, который улыбался так, будто улыбка была формой профессиональной вежливости, а не живым чувством. Бар притаился на авеню де ла Жюстис, в том районе, где бельгийская колониальная архитектура – помпезная, с высокими балконами и облупившейся лепниной – давно перестала быть колониальной и стала просто декорацией для никому ненужного увядания, как становится обычной тряпкой мундир, с которого сорвали погоны.

Лео прилетел в Киншасу утром – изматывающим рейсом из Найроби через Аддис-Абебу, четырнадцать часов в

воздухе и на пересадках. К вечеру он уже находился в том особенном состоянии полусонной дезориентации, когда тело уже перенеслось в другой часовой пояс, а мозг застрял где-то над океаном, и между ними образовался зазор, ментальная щель, в которую безвозвратно проваливается всё, что принято звать здравым смыслом. Он добрался до гостиницы «Ориент-Экспресс» – дешёвой, но относительно чистой, бросил рюкзак на кровать, принял еле тёплый душ с устойчивым запахом ржавчины, переоделся и спустился в лобби. Там его уже ждал Реми Гайяр, который безапелляционно заявил: «Пойдём выпьем, Гонзалес. Завтра начнётся ад в красной зоне, а сегодня мы ещё имеем право побыть людьми».

Реми Гайяр. Француз. Врач-инфекционист. Сорок два года, или сорок три, он никогда не называл точную цифру, как не называют её те, кому эта цифра категорически не нравится. Высокий, болезненно худой, с лицом, на котором вечная усталость и едкая ирония жили бок о бок, как соседи, которые ненавидят друг друга, но не могут разъехаться из-за нехватки денег. Он работал в Конго уже два года – сначала в Букаву, потом в Кисангани, теперь в Киншасе, координировал программы ВОЗ. За эти два года Реми оброс тем непробиваемым, злым цинизмом, который появляется от того, что человек слишком долго смотрит на вещи, которые вообще не должны существовать в цивилизованном мире, и вынужден каждый день называть их по имени.

Разведённый. Жена ушла полгода назад – Лео не знал де-

талей, а Реми не распространялся, но по тому, как француз смотрел на местных женщин – быстро, оценивающе, с голодной жадностью, прячущейся за изысканной учтивостью, – было ясно, что рана внутри него всё ещё кровоточит, а цинизм – лишь сухая корочка на этой ране.

– За миссию, Гонзалес, – Реми поднял полную рюмку. Текила была местной, без названия, с резким запахом печёной агавы и бензина.

– За миссию, – Лео чокнулся с ним.

Они пили грубо и быстро. Текила – в рюмку, залпом, а следом – глоток ледяного, колющего горло пива *Primus*. Этот ритуал Лео привёз ещё из Техаса, из колледжа, с тех времён, когда алкоголь был не только удовольствием, но и формой доступного самоуничтожения. Реми же пил иначе: медленно, смакуя каждый глоток, как истинный сомелье, и каждую рюмку сопровождал язвительным комментарием: «Слабая», «Лучше, чем та дрянь в Букаву», «О, а в этой есть нота земли, как если бы у кукурузы водилась душа».

Бар был заполнен наполовину. Местные мужчины в ярких рубашках, женщины с высокими причёсками, экспаты из ООН, парочка заезжих туристов-авантюристов и хмурый военный советник из Марокко, который пил чистый виски и смотрел в одну точку. Из динамиков, прибитых к стенам грязным скотчем, лился пёстрый музыкальный поток – лингала, соул, электронные басы, а потом, вдруг, без всякого перехода, колонки выплюнули тягучий, дребезжащий звук.

...I don't want to see...

U2. «Love is Blindness». Лео мгновенно узнал первые такты – этот низкий дрон клавишных, тяжёлый и липкий, как чёрный мёд. Внутри него что-то болезненно дёрнулось, как дёргается оголённый нерв, когда задевают давний, забытый шрам. Песня из давнего прошлого. Из того самого кинотеатра «Сан-Мартин», где он сидел подростком и ещё не понимал смысла всех этих английских слов, но кожей чувствовал безнадёжный, красивый, обволакивающий тон, от которого хотелось зажмуриться и никогда больше не открывать глаза.

– А тебе в каком исполнении она нравится больше? – Реми повернулся к нему, держа рюмку так, что тусклый свет от стойки проходил сквозь жёлтую жидкость, окрашивая его пальцы в цвет старого золота. – U2 или Джек Уайт?

Лео слушал, как нарастает музыкальное удушье. Боно тянул слова, растягивал гласные, и эти гласные были тягучими, как патока, как ночной воздух Конго.

– Джек Уайт, – ответил Лео. – Уайт честнее. В ней чувствуется разрушение.

Реми усмехнулся. Усмешка была короткой, кривой, с одним приподнятым уголком рта – излюбленный жест человека, который привык спорить ради самого процесса.

– А мне U2, – отрезал француз. – Уайт – это всего лишь ремесло. Техника. Он берёт чужую боль и устраивает из неё рок-н-рольную истерику. Но U2 – это оригинал. А оригинал, Гонзалес, всегда ранит больше, потому что он рождал-

ся в темноте, а не под софитами.

Лео хотел возразить. Он мог бы сказать, что Уайт не только перепевает – он разбирает песню на части, как старинные карманные часы, чтобы обнажить шестерёнки, чтобы увидеть сам механизм страдания, и в этой хирургической анатомии есть своя суровая честность, которой лишён сентиментальный оригинал. Лео мог бы это сказать, но текила уже сделала своё дело – разжижила внутренние границы, превратила мысли в зыбкие полутени. А в следующий миг в огромном, покрытом слоем жира зеркале за бутылками, отражавшем входную дверь, он увидел её.

Она вошла так, словно это пространство принадлежало ей по праву рождения и давно её ждало: без спешки, без ложной робости, без того кокетливого замедления шага, которым пользуются те, кто отчаянно ищет чужого внимания. Не так, как обычно входят в портовые бары одинокие женщины. Она просто возникла. Стала частью геометрии бара, как становится частью холста точный мазок мастера, – естественно, неизбежно, так, будто до её появления здесь зябко дрожала пустота, а теперь мир обрёл завершенность.

Двадцать три года – это он узнает позже. Но в ту секунду земной возраст не имел значения, потому что она принадлежала к редкой породе женщин, существующих вне хронологии, как существуют вне времени великие реки или горы: они просто всегда были и всегда будут.

Её кожа была невероятно тёмной – глубокой, бархатистой,

с тем редким подкожным свечением, которое бывает у людей, чья плоть напитана солнцем, а не сожжена им. В полумраке кабака эта кожа отливала матовой бронзой и янтарём, если поднести к нему горящую спичку. Короткие, жёсткие волосы, подстриженные почти под ноль, безжалостно обнажали идеальную линию лба, высокую шею и хрупкий затылок. И в этой абсолютной открытости, в этой обнажённости черепа не было беззащитности – наоборот, в ней угадывалась пугающая точность, с какой точен оголённый нерв или свежая рана.

На ней было яркое платье из плотной ткани-ваксы, покрытое сложными геометрическими узорами, спиралями и ломаными линиями. Лео не мог их расшифровать, но ему казалось, что эти узоры живут собственной жизнью, приходя в движение при каждом её шаге. Каждая линия была не украшением, а тайным знаком, принадлежащим древнему, забытому языку, к которому человеческий алфавит был неприменим.

Она опустилась на высокий стул у барной стойки, всего в двух шагах от них. Поставила перед собой бутылку минеральной воды «Аква» с блёклой голубой наклейкой. Бармен, секунду назад лениво разглядывавший свои ногти, сразу материализовался перед ней со льдом, как будто подчиняясь беззвучному приказу королевы.

Реми, разумеется, заметил её первым. Это было его проклятием: он видел красивую женщину как охотник видит ми-

шень – молниеносно, и с холодным расчётом, который прятался за натренированным парижским обаянием. Он плавно развернулся на стуле, подался вперёд и ослепительно улыбнулся:

– Добрый вечер, мадемуазель. Позвольте представиться – Реми Гайяр, инфекционист из Всемирной организации здравоохранения. А это мой коллега, Лео Гонзалес, он тоже врач, но слишком скромен для этой ночи и потому предпочитает молчать.

Она посмотрела на француза. Спокойно, прямо – тем непереносимым взглядом, который ничего не ищет и ничего не избегает, просто фиксирует реальность, как чистое зеркало.

– Имани, – произнесла она низким, с лёгкой хрипотцой голосом. – Имани Нгой.

Её имя прозвучало как застывшая музыка, как голос, заключённый в изящный треугольник арфы, а не как обычное сочетание букв. Произнесённое вслух, оно зависло в душном воздухе на секунду дольше, чем положено по законам акустики, и от этой лишней секунды у Лео поползли крупные мурашки по предплечьям – это было совсем непохоже на холод или страх – это было дикое, необъяснимое чувство узнавания, словно тело вспомнило ритм, который никогда раньше не слышало.

– Вы местная? – спросил Реми, сокращая дистанцию.

– Зависит от того, что именно вы называете этим словом,

– Имани чуть улыбнулась, и её улыбка была ровной, как зеркало воды перед тем, как в него рухнет камень.

– Нет, – выдержав театральную паузу продолжила она. – В Киншасе у меня дела.

– О, и какие же?

– Личные, доктор.

Реми наигранно рассмеялся – так смеются мужчины, желающие показать, что лёгкий отпор их ничуть не задел, и обернулся к стойке:

– Бармен, ещё текилы. Три рюмки.

Имани медленно подняла бровь, всматриваясь в запотевшее стекло.

– Я не пью текилу.

– Обязательно попробуйте, – Реми пододвинул к ней стопку. – Она отвратительна. Но в сочетании с пивом становится сносной. Как и вся наша жизнь в этой прекрасной стране.

Она посмотрела на рюмку, а затем перевела глаза на Лео. Тот молчал. Он не мог думать об этой женщине, потому что мысль требует расстояния, перспективы, и никакой дистанции между ними уже не оставалось. Лео с удивлением фиксировал, как учащается его пульс и как внутри нарастает то самое чувство, которое испытываешь, стоя на краю глубокого обрыва: восторг, смешанный с неизбежностью падения.

– Хорошо, – согласилась Имани и взяла стопку тонкими, длинными пальцами. – Но сначала у меня вопрос к вашему молчаливому другу.

Она впилась глазами в Лео.

– Вы ведь американец?

Лео внутренне вздрогнул от безжалостной точности её догадки.

– Почему вы так решили?

– Ваш французский, – она слегка наклонила голову, и этот жест показался Лео настолько древним, будто она тренировала его веками. – Он звучит чудовищно. Он насквозь пропах Техасом.

Реми захохотал в голос, хлопая себя по колену:

– Гонзалес, она раскусила тебя с первого слова!

Лео неловко улыбнулся. Улыбка вышла вымученной.

– Мои родители из Аргентины, – выдавил он. – Но медицинскую школу оканчивал в Гарварде, а потом немного практиковал в Техасе. Так что да, мой французский ужасен. Я знаю.

– Он не ужасен, – Имани поднесла рюмку к мерцающей вывеске, и мутная жидкость вспыхнула золотом. – Он честный. Вы не умеете прятать свой акцент, Лео, а значит, не умеете прятаться сами. В наших краях это опасная редкость.

Она выпила. Одним точным, слитным движением – не залпом, как пьют русские, но и не пригубливая – словно перелив алкоголь внутрь себя. Поставила пустую стопку на дерево стойки и на мгновение закрыла глаза. В эту единственную секунду её лицо странно изменилось: мелкие мимические мышцы расслабились, пухлые губы приоткрылись, и

Лео сквозь хмель увидел – как видят внутренности на рентгеновском снимке, – что под этой маской уверенности и царственного покоя прячется нечто иное. Что-то безмерно глубинное. Тёмное. Что-то, что знало о нём самом гораздо больше, чем он мог себе вообразить.

– А вы? – спросила Имани, открывая глаза и глядя прямо в его зрачки. – Откуда вы знаете эту музыку?

Лео не сразу сообразил, о чём она. Потом прислушался: «Love is Blindness» всё ещё тянулась из динамиков, как заевшая грампластинка, заполняя бар удушливым туманом скорби.

– Из детства, – тихо ответил он. – Из какого-то фильма...

– Из фильма, – повторила она, и это слово прозвучало в её устах как окончательный приговор.

Они продолжали пить. Текила сменялась пивом, пиво – текилой. Реми без умолку говорил, рассказывая дикие истории о Букаву и Кисангани, о том, как он тушил вспышку Эболы и как однажды ночью в госпитальной палатке услышал, что за стеной поёт кто-то нечеловеческий, – поёт так страшно и сладко, что у него, завязанного циника, хлынули слёзы, которые он не мог остановить до рассвета. А утром выяснилось, что в ту ночь в лагере не умер ни один безнадёжный больной, хотя гемоглобин у троих упал до критического минимума.

– Обычное суеверие, – горячился Реми, и его голос был слишком громким, словно он убеждал в этом не их, а само-

го себя. – Массовый психоз на фоне стресса, бессонницы и местного фольклора. Но совпадение, согласитесь, чертовски странное.

Имани слушала его молча. Она уже отказалась от минералки и пила обжигающую текилу наравне с ними. Её молчание было плотным, осязаемым, как пауза в оркестровой партитуре, как полное отсутствие звука, как пространство, в котором этот звук созревает перед ударом.

– А вы, Имани? – Реми наклонился к ней почти вплотную, позволяя себе ту наглую близость, которую демонстрируют пьяные мужчины. – Чем вы зарабатываете на жизнь?

– Я учительница, – спокойно ответила она. – При католическом приходе в небольшом провинциальном городке. Учю маленьких детей читать, писать и считать.

– Католический приход? – француз цинично усмехнулся. – И вы верите во всю эту чушь с распятием?

– Я верю, – её глаза блеснули в темноте. – А вы, доктор?

– Я француз, – гордо заявил Реми, и это прозвучало одновременно как диагноз, как приговор и как нелепое извинение перед вселенной.

Имани улыбнулась своей ровной, водной улыбкой, и в этой улыбке Лео преломлённым текилой зрением увидел глубокое, почти материнское сострадание. Так смотрят на смертельно раненого солдата, который ещё не понял, что его внутренности вывалились на траву.

– Лео, а вы? – она впервые обратилась к нему по имени, и

его имя в её устах обрело совершенно иное звучание – не короткое «Лео», к какому он привык в Бостоне, а протяжное, с густым ударением на втором слоге, превращая имя в античное описание хищника: лев. – Зачем вы приехали сюда?

– Официальная миссия ВОЗ, – с трудом выговорил он, стараясь, чтобы язык не заплетался. – Мобильная клиника, лагеря беженцев в Верхней Катанге.

– Верхняя Катанга... – повторила она, и в её голосе прорезался холод. – Что ж. Может быть, мы увидимся там, за холмами.

– Вы едете туда?

– Я иногда там бываю, – тихо произнесла Имани. – Знаете, Лео, Катанга – это такое место, из которого невозможно уехать навсегда. Земля, которая никогда и никого не отпускает живым.

Она сказала это обыденно, но сквозь хмель он уловил в её интонации нечто свинцовое, первобытное. На мгновение ему стало по-настоящему страшно, но это был страшный восторг самоубийцы, который уже стоит на парапете и знает, что шагнёт вниз – нет, не из-за того так хочет умереть – просто гравитация бездны сильнее его воли.

... Won't you wrap the night around me...

Музыка продолжала душить бар. Текила в бутылке иссякла. Реми что-то яростно доказывал бармену: поминал короля Леопольда, резиновые плантации, отрубленные руки конголезцев, бельгийский колониальный позор. Французы все-

гда начинают без умолку говорить, когда алкоголь обнажает их внутреннее одиночество. Но Лео уже не слышал Реми. Он слушал только её: не слова – плотное молчание между ними, ритм её глубокого дыхания, шелковистое шуршание ткани платья о её гладкую кожу, едва слышный скрип высокого стула, когда она слегка поворачивала торс.

– Так откуда вы, Имани? – наконец-то спросил он.

– Потанцуйте со мной, – вместо ответа произнесла она.

Не «давайте потанцуем», не «вы не хотите потанцевать?». Это было как повелительное наклонение. Как древнее заклинание. И Лео поднялся со стула послушным манекеном, подчиняясь импульсу: его мышцы сработали раньше, чем разум успел выставить логические барьеры.

Он плохо помнил сам танец. Точнее, память сохранила лишь ослепительные, пересвеченные алкоголем осколки той ночи, никак не связанные между собой законами рации.

Один из этих осколков, обжигающий пальцы: её рука на его плече. Её пальцы – длинные, сильные, с коротко обстриженными ногтями – лежали на грубой ткани его рубашки, и от этого простого прикосновения ткань мгновенно растворилась, исчезла, и её ладонь неспешно легла на его голые ключицы, и кожа под её пальцами вспыхнула чистым термическим огнём.

Другой осколок ночи, пахнувший тёмно-красными листьями и надвигающейся грозой: её лицо в нескольких сантиметрах от его лица. Теперь он точно знал, откуда исходил этот

одурманивающий цветочный аромат – он шёл от её кожи, от её дыхания, от её открытого затылка. Это не был парфюм, купленный в магазине, это был её собственный запах, встро-енный в тело, неотделимый от плоти, как пахнет дикое рас-тение после полуденного ливня.

Ещё одна вспышка памяти: её приглушённый голос, шеп-чущий слова на непонятном языке, который не был похож ни на французский, ни на лингала, ни на суахили. Язык был гор-танным, утробным, и эти чужие слова складывались в стран-ную песню. В этой песне не было привычной мелодии – лишь дикий, необузданный ритм, который с пугающей точностью совпадал со стуком его собственного сердца, ускоряя его во-преки законам медицины.

А затем – она смеялась. Тихо, с хрипотцой, обнажая ров-ные белые зубы. И этот смех был странным – скорее осво-бождённым, чем весёлым – как смеётся узник, с которого после долгих лет заточения в крошечной тьме наконец-то сбросили железные оковы.

И снова текила. Прозрачная жидкость, льющаяся в ста-каны, тёплое пиво, которое они пили прямо из горлышка. Имани запрокидывала голову, и Лео заворожённо смотрел на безупречную линию её шеи – длинную, беззащитную, с глубокой пульсирующей ямкой между ключицами. Он от-чётливо видел, как под её тонкой кожей бьётся живая, горя-чая тёмная кровь.

Короткий отблеск уличных фар: Реми. Француз остался

сидеть у барной стойки в полном одиночестве, глядя на них сквозь стекло своей пустой рюмки. На какую-то долю секунды его лицо показалось Лео настолько покинутым и старым, что у него болезненно сжалось сердце. Но Имани сделала резкое движение, развернулась, прижалась к нему всем телом, и весь мир снова сузился до размеров её зрачков.

А потом – такси. Жёлтый, разваливающийся на куски дребезжащий «Мерседес» с молчаливым водителем, который даже не оборачивался назад. За мутным окном проносился ночной город: ядовитые неоновые вывески, длинные уродливые тени на бетонных стенах, уличные торговцы алкоголем и дурью, треск мотоциклов, костры, горящие на грязных обочинах, удушливый запах гниющего мусора и жареных бананов. Всё это мелькало перед глазами, как рваные кадры в испорченном кинопроекторе, когда плёнка начинает плавиться от тепла лампы.

Она сидела на заднем сиденье рядом с ним. Её ладонь лежала на его колене. Пальцы – сильные, тёплые – сжимали его сустав с той безжалостной точностью, которая говорила: я знаю, где ты сейчас находишься, я знаю, кто ты такой на самом деле, я знаю каждую твою тайную мысль, и тебе не нужно ничего мне объяснять.

– Ты насквозь пахнешь страхом, белый доктор, – произнесла она тихо, шепча ему в губы. Её дыхание обжигало.

– Я не боюсь, – соврал он, чувствуя, как пересыхает во рту.

– Это не обвинение, Лео. Страх – это единственная чест-

ная правда человеческого тела. Тело всегда гораздо честнее твоего гордого разума.

Он хотел возразить, хотел сказать, что он окончил Гарвард, что он полевой медик, что он видел смерть десятки раз и умеет держать себя в руках, но слова намертво застряли в горле. Вместо ответа он наклонился и поцеловал её. Её губы были горячими, влажными, с горьким привкусом кукурузной водки, соли и чего-то исконного, земляного. От этого поцелуя у Лео закружилась голова – физически, по-настоящему, как кружится голова у человека, летящего с крыши небоскрёба без парашюта.

Последний проявленный осколок ночи: тёмный коридор гостиницы. Крутая винтовая лестница. Номер – его собственный или чужой, он уже не соображал. Скрежет ключа в ржавом замке. Слизкая тьма внутри комнаты, и лишь узкая полоса жёлтого света от уличного фонаря, пробившаяся сквозь щель в ставнях, упала на серую стену. На этой стене они увидели свою тень – одну-единственную, слитную, огромную, неразделимую тень монстра, у которого было два сердца.

Кровать. Жёсткие простыни. Их общий запах, заполнивший комнату, как удушливый газ. Этот запах очертил новую территорию, невидимую границу, пересечение которой для Лео было абсолютно необратимым.

И её шёпот. Чужие, вибрирующие слова проникали в его ушную раковину. От этой вибрации колебалась его барабан-

ная перепонка, передавая дрожь дальше, в позвоночник, в кости, в кровь. А потом наступила тишина. Глубокая, звенящая, как тишина на поле боя после взрыва крупнокалиберного снаряда, в которой переплелись два рваных дыхания.

Провал. Абсолютная темнота.

...Oh my heart...

Громкий, настойчивый стук в дверь разорвал пелену забвения.

Лео резко открыл глаза. Вентилятор над головой продолжал крутиться с прежней монотонностью. Белые лопасти отсчитывали секунды его новой, разбитой реальности. Он лежал на простынях совершенно один. Вся кожа была липкой, покрытой подсохшим слоем чужого и своего пота. Бутылка из-под *Lotoko* валялась на полу, а сквозь щели деревянных ставней пробивался ядовитый, пыльный утренний свет Киншасы.

Стук повторился, на этот раз громче.

– Мистер Гонзалес?

Голос за дверью был женским, низким и вежливым – профессиональный голос гостиничной горничной, привыкшей будить постояльцев после бурных ночей. В этом голосе не было ничего личного, никакой тайны – чистая функция.

– Мистер Гонзалес, я принесла ваш утренний кофе и грейпфрутовый сок.

Лео рывком сел на кровати. Деревянный каркас протестующе скрипнул. Голова была неподъемной, свинцовой, как

после плохого наркоза. Каждое движение отзывалось тупой болью в затылке, виски бешено пульсировали.

– Поставьте поднос у двери, – крикнул он, и его собственный голос показался ему хриплым, надсаженным, чужим. – Я сейчас встану.

За дверью слышались лёгкие, быстрые шаги горничной, удаляющейся по длинному коридору.

– Я разве это заказывал? – крикнул он ей вдогонку, но ответом ему была лишь глухая тишина гостиницы.

Лео несколько минут сидел на краю матраса, опустив голову на ладони и пытаясь удержать ускользающие обрывки ночных видений. Потом он встал – резко, сжав зубы. Профессиональные рефлексы и холодный аналитический ум, вбитые годами тренировок, моментально включились, заглушая похмельный бред. Классический сценарий для белого дурака-туриста: красивая местная девушка в портовом кабаке, текила, провал в памяти, скополамин в стакане, пустые карманы. Каким же кретином нужно быть, чтобы подставиться в первую же ночь в Африке!

Он бросился к стулу, где бесформенной кучей валялась его одежда. Джинсы. Рубашка. Он лихорадочно выхватил кожаный бумажник и раскрыл его. Пачка наличных долларов – на месте, до последней купюры. Корпоративная кредитная карта Visa – на месте. Удостоверение сотрудника ВОЗ, международное водительское разрешение – всё лежало в строго определённых кармашках, нетронутое, неподвиж-

ное.

Он перевёл взгляд на рюкзак, стоявший у стены. Молния главного отделения застёгнута, пломба-индикатор на замке цела. Он сорвал её, открыл рюкзак: рабочий ноутбук со сложным двойным шифрованием лежал на своём месте. Паспорт, командировочные документы миссии в запечатанном конверте – всё было в идеальном порядке. Медицинский кейс с ампулами заперт на кодовый замок. Ни одна вещь в комнате не сдвинулась ни на миллиметр.

Всё было на месте.

Она ничего не взяла.

Эта мысль ударила его первой, как автоматический удар под дых. За ней следом пришла вторая, такая же липкая, как его пот, и стыдная: почему он вообще проверял? Он проверял, потому что так предписывали инструкции, потому что во всех этих прифронтовых и неблагополучных городах, где ему уже пришлось побывать по долгу службы – Найроби, Амман, Дакка, – всегда ходили одинаковые жуткие истории об экспатах, проснувшихся в дешёвых номерах без денег, документов или с грубым швом на боку вместо почки. Лео проверял вещи не оттого, что не доверял Имани – он не знал её – просто потому, что он уже перестал доверять этому миру.

Или всё-таки доверял ей?

Он взял со стола телефон, разблокировал экран и зашёл в список контактов. Прокрутил пальцем историю за вчерашний день. Бар. Такси. Гостиничный коридор. Он отчётливо,

до боли в суставах помнил, как уже здесь, в номере, удерживая её за тонкую талию, открыл телефон, и она продиктовала ему свой номер, а он нажимал пальцами на цифры. Она ещё улыбнулась тогда своей странной улыбкой и шепнула: «Смотри не потеряй, белый доктор».

В телефоне не было ничего. Ни одной новой записи. Никакого имени на букву «I». Никакого пропущенного или набранного номера. Список вызовов был девственно чист, как будто вчерашний вечер, бар «Ле Копакабана», текила и сама Имани Нгой были лишь плодом его воспалённого похмельного воображения.

Лео медленно положил телефон обратно на тумбочку. Постоял секунду, слушая мерзкий скрежет потолочного вентилятора, затем накинул халат, приоткрыл дверь номера и забрал с пола поднос. На нём стояла белая керамическая чашка с дымящимся чёрным кофе, высокий стакан с мутной розовой жидкостью грейпфрутового сока и два кубика сахара в бумажной обёртке. Горечь к горечи. Стандартный завтрак для стандартного постояльца.

Он перенёс поднос на стол и направился в ванную комнату, чтобы принять ледяной душ и смыть с себя этот навязчивый, сводящий с ума налёт прошедшей ночи. Включил свет. Архаичная люминесцентная лампа под потолком натужно зажужжала, моргнула несколько раз и наконец залила мертвенно-белым светом пожелтевший кафель стены.

Лео подошёл к раковине и поднял глаза на зеркало.

На большом, слегка запотевшем от утренней сырости стекле горела размашистая надпись. Буквы были выведены крупно, с яростным, уверенным нажимом. Жирная, ярко-бордовая губная помада. Рука, писавшая это в полутьме, явно не дрожала от страха и точно знала, что эти слова прочтут.

Я найду тебя.

Глава вторая. Витражи

Её укрытие пахло перегретым пальмовым маслом, жжёным луком и сладковатым дымом древесного угля. За рваным брезентовым навесом уличной жаровни, где грузная женщина переворачивала в кипящем фритюре золотистые шарики аккра, Имани была полностью скрыта от чужих глаз. Плотная завеса чада и пара надёжно отделяла её от шумной улицы.

Она стояла абсолютно неподвижно. На ней было длинное, строгое белое платье из плотного хлопка с высоким закрытым воротом. Голову покрывал белый платок, повязанный по традиции католических приходов Верхней Катанги – туго, полностью скрывая волосы и шею. В этом облачении её тонкий силуэт казался выточенным из слоновой кости, а лицо на контрасте с белоснежной тканью выглядело ещё темнее, глубже и выразительнее, подобно тёмной воде лесного озера перед грозой.

Она ждала его.

Это ожидание существовало вне логики и решений. Оно жило в самом её дыхании, в биении пульса на запястьях, в том непостижимом чувстве, которое пригнало её сюда ранним утром через мокрый, лениво просыпающийся город. И это ожидание было телесным: как не может не дышать лёгкое, как не может не биться сердце.

Она стояла на углу авеню Каса-Вубу, наблюдая за фасадом костёла Святого Петра, и смотрела, как жаркое солнце неторопливо зажигает его неоготические башни. Сначала оранжевый отблеск коснулся верхних карнизов, затем золотая волна спустилась к подножию ступеней, и, наконец, витражная розетка над входом вспыхнула изнутри густым, ослепительным светом.

В восемь пятнадцать появился Гонзалес. Лео.

Имани узнала его шаг ещё до того, как разглядела лицо. Быстрый, собранный, чеканный шаг человека, привыкшего переступать пороги больничных палат. Он шёл в светлой рубашке, с рюкзаком через плечо. Из-за брезентового навеса Имани вглядывалась в его черты и поражалась увиденному: в его облике не осталось и следа от безумной, бессонной ночи и выпитого алкоголя. Он выглядел абсолютно свежим, собранным, умытым, с ещё сырыми после душа тёмными волосами. Это безупречное бесстрашие его тела, способность выглядеть чистым посреди тропического хаоса заставили её сердце сжаться.

Когда Лео остановился у подножия лестницы и поднял голову к розетке, утреннее солнце ударило ему прямо в лицо. Кожа его сразу вспыхнула неправдоподобной бронзой и золотом, как на древней фреске.

В груди Имани оборвалась тонкая, натянутая нить. На её место пришла волна невиданной прежде нежности – глубокой, оглушающей, почти святотатственной. Это было совер-

шенно новое чувство, непохожее ни на что из того, что она знала раньше. К собственному мужу она никогда не испытывала ничего подобного: там всё строилось на долге, тени и замалчиваемой боли. А здесь, перед лицом этого незнакомо-го белого врача, в ней проснулся дикий, отчаянный порыв. Ей нестерпимо захотелось выбежать из тёмного укрытия, пересечь улицу, обнять его изо всех сил, прижать его голову к своей груди и держать так, не отпуская ни на сантиметр.

Это было то самое объятие, каким её саму когда-то обнимал дедушка. В те далёкие, страшные дни, когда бабушка молча собирала свои, только ей одной принадлежавшие вещи и уходила из дома в глухую темноту, в сторону джунглей, оставляя после себя лишь запах разрытой земли и засушенных трав. В такие дни дед садился на деревянный порог, усаживал маленькую Имани на колени и прижимал к себе с такой силой, словно пытался заслонить своим телом от всего мира. В том старом дедовском тепле не было слов или обещаний – одна лишь глухая, спасительная защита.

Сейчас Имани хотела стать такой же защитой для Лео. Она ощущала, как вокруг него смыкается невидимое кольцо опасности, центром которого была она. И эта отчаянная жажда уберечь его жгла её изнутри.

Она дождалась, пока громоздкая дубовая дверь костёла поглотит фигуру американца. Выждав три минуты, Имани вышла из-за брезента и бесшумно направилась к храму.

Внутри царила благословенная, гулкая прохлада. Тол-

стые каменные стены удерживали ночную свежесть, защищая пространство от подступающего полуденного зноя. Но главным в костёле был свет. Утреннее солнце уже поднялось достаточно высоко, и узкие стрельчатые витражи зажглись в полную силу. Высокие цветные столбы – сапфирово-синий, насыщенный рубиново-красный, янтарно-золотой – пронзали полумрак насквозь, разрезая воздух острыми, пульсирующими лезвиями. Пылинки танцевали в этих лучах, превращая внутреннее пространство в сияющий, молитвенный колодец.

Лео сидел во втором ряду от алтаря. Его голова была опущена, пальцы сцеплены в тугой замок. Он молился, погружённый в знакомый с детства католический канон, находя в нём единственную опору посреди этого странного, конголезского мира. Рядом с ним на полированной скамье лежал потёртый чёрный рюкзак с пришитой вручную, слегка кривоватой эмблемой ВОЗ – в этой неровной строчке проглядывала трогательная человеческая усталость.

Имани подошла, не издав ни звука, и тихо опустилась на скамью рядом с ним.

Лео вздрогнул. Его молитва оборвалась. Он повернул голову, и в его карих глазах, подсвеченных снизу цветным отблеском витражей, вспыхнуло чистое, ошеломлённое изумление.

– Имани?.. – прошептал он.

– Тише, – едва слышно шепнула она, указывая взглядом

на алтарь. — Мы в доме Божьем.

— Как ты... откуда?

— Ты сам спросил меня прошлой ночью, — её голос звучал тихо, но заполнял всё пространство между ними, подобно воде, наливаемой в хрустальный сосуд. — Ты спросил, где здесь можно помолиться на рассвете. Я ответила: костёл Святого Петра, в восемь утра.

Лео нахмурился, тщетно пытаясь выудить это воспоминание из мутных провалов памяти:

— Спросил? Когда? Я не помню этого...

— Я знаю.

Витражи продолжали лить свой пронзительный свет. Синий и красный лучи скрещивались прямо на её белом платье, окрашивая ткань в пурпур. Взгляд Лео скользнул к её шее. Там, поверх строгого ворота, в том месте, где ключицы сходятся в V, где кожа тонкая и под ней видна пульсация, на тёмном шнурке висел амулет, которого не было накануне вечером.

Он не был похож на крест. Он не был похож на икону. Он был другим, древним, чужим, — и в то же время Имани носила его поверх белого платья, поверх белого платка, — и это поверх было не вызовом, не противоречием, а естественным сосуществованием: два мира, два взгляда, два понимания, живущие в одном теле, на одной шее, рядом, вместе, не мешая друг другу. Это был небольшой, отполированный от времени деревянный цилиндр, обмотанный сухими жилами

и исписанный тонкой резьбой, узором – круг, внутри которого точка, а вокруг точки – спираль.

Лео взгляделся в узор, и его голос понизился до профессионального шёпота:

– Это Нкиси?

В глазах Имани блеснул живой, изумлённый огонёк:

– Ты знаешь это слово?

– Я читал о Конго перед поездкой, – ответил Лео, сохраняя дистанцию. – Нкиси это... Дух? Предмет силы? Хранитель?.. Я читал разные интерпретации.

– Хранитель, – мягко повторила она, и в её интонации прозвучала глубокая, древняя уважительность к человеку, который попытался понять её мир. – Да. Можно назвать это так.

– Хранитель, – повторил Лео. Посмотрел на амулет. Потом снова на неё. В глаза. – А что он хранит?

Имани не ответила. Она полезла в свою небольшую сумочку из пальмового волокна и извлекла оттуда массивный предмет. Это был толстый медный браслет, покрытый потемневшей от времени гравировкой – те же спирали и точки, что и на деревянном амулете. Металл казался удивительно тёплым, как будто бы он хранил в себе живое человеческое дыхание.

Имани взяла Лео за правую руку – на левой у него тускло поблёскивал стальной корпус часов. Её движения были плавными, но абсолютно непреклонными. Кожа была слегка

покрасневшей от утреннего солнца, сухой, с тонкими тёмными волосками на руках, с видимой голубой веной, пульсирующей ровно, спокойно, и Имани подумала (не головой, пальцами, кончиками пальцев, подушечками, – пальцы её думали сами по себе, как думают отдельные существа), что пульс этот бьётся в ритме, знакомом только ей ритме, который она слышала раньше, с самого детства, там – дома... И надавив пальцами на его запястье, она соскользнула медным кольцом на его кожу.

Металл плотно облёк сустав. Лео почувствовал странный, глубокий импульс, прошедший сначала от запястья к плечу, а затем дальше – вниз по спине.

– Там, куда вы едете, может быть опасно, – сказала Имани, удерживая его руку в своих ладонях. – Там может быть опасно по-настоящему.

– Я знаю, – ответил Лео, не сводя глаз с её лица, рассечённого фиолетовым лучом витража.

– Ты не знаешь, – она чуть наклонила голову, и этот жест, тот самый, тот, из бара, – заставил Лео замолчать. – Ты думаешь, что знаешь. Ты читал свои бумаги, смотрел карты, изучал протоколы. Но бумага не пахнет. Карты не дышат. Протоколы не плачут по ночам.

Она замолчала, глядя куда-то вперёд, за алтарь.

– В Катанге Эбола? – посмотрев на него, спросила она.

– Мы не знаем. Пока нет точных данных. Поэтому мы с Гайяром и отправляемся туда.

Лео сделал паузу, всматриваясь в её тёмные зрачки, вокруг которых в свете солнца проступали янтарные ободки:

– Почему ты удалила свой номер из моего телефона?

– Я не удаляла.

– В моём телефоне нет...

– Ладно, Лео, – она прервала его, и на её губах появилась печальная, мудрая улыбка. – Там, куда вы едете, мобильная связь не работает. Нет вышек. Нет спутников. Нет ничего. Телефон – это вещь. А вещи, – она помолчала, – вещи теряют смысл, когда выходят за пределы того, для чего они были сделаны. Телефон сделан для связи. А там связь устанавливается иначе.

Она медленно поднялась со скамьи. Белая хлопковая ткань проскользнула по полированному дереву.

– Я приеду туда, – произнесла она тихо, глядя в сторону светящегося распятия. – Я родом из Верхней Катанги. Прости, что не рассказала сразу... Это моя земля, Лео. Иногда нужно возвращаться домой.

Прежде чем он успел ответить, Имани наклонилась, обхватила его правую руку – ту, на которой сияла тёмная медь, – и сжала её с такой страстной, отчаянной силой, что у Лео перехватило дыхание. В этом её пожатии была вся нерастраченная нежность, вся тревога и вся дикая, необъяснимая связь, возникшая между ними. И от этого сжатия он почувствовал, как кровь в его запястье замедлилась, как пульс успокоился, как тело расслабилось, – и физическими, хими-

ческими, медицинскими терминами это было не объяснить.
– Береги себя, белый доктор, – шепнула она.

Развернулась и пошла к выходу. Её светлое платье двигалось сквозь цветные столбы витражного света, растворяясь в золотой пыли, пока дубовая дверь не закрылась за ней без единого звука. В воздухе остался лишь её запах – тёмный, ночной, пахнувший ночными цветами и сырой землёй.

Лео продел руки в лямки рюкзака, перекрестился и вышел на улицу.

Утренний зной Киншасы ударил в лицо плотной, влажной волной. У подножия ступеней, прислонившись к обшарпанному жёлтому такси, стоял Реми Гайяр.

Француз с аппетитом уплетал местную шаурму – ту самую, киншасскую, завёрнутую в промасленную газету, с рубленым мясом, жареным луком, зелёным перцем и жёлтым, острым соусом, который тёк по пальцам и капал на брюки, и Реми не обращал на это ни малейшего внимания, потому что есть для него было процессом самоутверждения в мире, своего рода действием, формой присутствия, – есть – значит быть здесь и сейчас.

Рядом с ним на капоте лежала вторая шаурма, завёрнутая в такую же газету.

– А, вот и наш праведник! – промычал Реми с набитым ртом, протягивая Лео второй свёрток. – Держи, Гонзалес. Горячее мясо, куча перца – лучшее средство от похмелья. Нам пора в аэропорт, ооновский чартер уже греет моторы.

Лео взял свёрток, ощущая пальцами обжигающее тепло. Он резко повернулся и окинул взглядом площадь, жаровню, пёструю толпу прохожих. Белого платья нигде не было.

– Ты видел её? – быстро спросил Лео.

Реми перестал жевать и вытер подбородок тыльной стороной ладони:

– Кого?

– Девушку. Имани. Она вышла из костёла пару минут назад, прямо передо мной.

Француз недоуменно нахмурился, взглянув на пустые ступени:

– Лео, я торчу здесь минут десять. Из этих дверей вылез только один хромой старик. Ты уверен, что проспался?

Лео ничего не ответил. По спине прошёл холодный, нездешний сквозняк. Он молча шагнул к открытой дверце такси и бросил рюкзак на сиденье.

– Погоди-ка, – Реми вдруг сузил глаза и резко схватил Лео за плечо, разворачивая к себе. – Чёрт возьми... Похоже, ночь у тебя и правда выдалась бурная. Откуда у тебя кровь на спине?

– Что? – Лео попытался извернуться.

– Повернись спиной! Подними рубашку!

Лео подчинился. Реми осторожно приподнял плотную хлопковую ткань светло-серой рубашки, которая ещё полчаса назад в отеле была безупречно чистой. На ткани расплывались свежие алые пятна.

– Четыре царапины, – констатировал Реми, вглядываясь в раны с вьедливостью опытного врача. – Параллельные, от лопатки до самых рёбер. Кожа вспухла, сочится кровь. Как будто тебя полоснула дикая кошка.

Лео осторожно завёл руку за спину и коснулся лопатки. Пальцы ощутили горячие, саднящие борозды и мокрую, липкую теплоту. Утром, когда он стоял под душем в отеле и вытирался полотенцем перед зеркалом, его спина была абсолютно чистой. Ни одной ссадины. Или это всё же местное пойло?

Реми хмыкнул, качая головой, и забрался на переднее сиденье такси:

– Ладно, не бери в голову, Ромео. Под защитным костюмом всё равно никто ничего не увидит. Главное – обработай в самолёте антисептиком.

Лео наконец-то откусил шаурму. Мясо жареное, пряное, горячее; соус острый, сладкий, вязкий; хлеб тонкий, хрустящий, масляный, – и всё это вместе взорвалось во рту, заполнило, затопило, – и он подумал, что вот уже два раза за последние двенадцать часов его тело заполняют жаром – вчера она, шаурма сегодня, – и разница между этими двумя заполнениями была непомерной, несоразмерной, безумной.

– Залезай, нам пора, – прервал его мысли француз.

Лео сел на заднее сиденье. Такси зарычало, окуталось сильным дымом и тронулось с места.

– Реми, – выдохнул он.

– М-м?

– Ты веришь в то, что не можешь объяснить?

Реми посмотрел на него. Долго. Тяжело. Потом отвернулся, посмотрел в окно.

– Лео, Лео. Я не верю ни во что, – сказал он. – Но я вижу то, что вижу. И вижу я, Гонзалес, – он помолчал, – иногда слишком много.

Лео смотрел в окно на удаляющиеся башни костёла Святого Петра, на мигающие в уже далёких проёмах цветные витражи. На его правом запястье массивным, ледяным кольцом давила медь, на пальцах сохла собственная необъяснимая кровь, а в воздухе раскалённой машины, перебивая запах жареного мяса и бензина, всё ещё стоял отчётливый, стойкий аромат церковного ладана и её тела.

Глава третья. Картография раны

«Cessna-208 Caravan» шла низко.

Одномоторная, с тупым носом и винтом, который вгрызался в насыщенный тропический воздух с монотонным собачьим упорством, она несла их над зелёной пустыней уже четвёртый час. В тесном салоне стоял плотный, едкий замес из авиационного керосина, нагретого на солнце пластика, антисептика и человеческого пота. Пространство между креслами до самого потолка забили картонными коробками с реагентами, опечатанными контейнерами биозащиты, портиративными центрифугами и рулонами плотной изоляционной плёнки.

Лео сидел у левого иллюминатора, прижавшись лбом к тёплому, вибрирующему пластику, и смотрел вниз.

Джунгли под ними казались бесконечными. Крона непрерывной зелёной массы, густой, тёмной, непроницаемой, тянулась до самого горизонта, смыкаясь с бледным тропическим небом в едва различимую линию. И эта крона дышала – не метафорически, а физически: восходящие потоки раскалённого воздуха вздымали её медленными волнами, как мерное колыхание исполинской груди задремавшего колоса. Лес спал. Или делал вид, что спал.

А потом начались шрамы.

Первый появился справа, почти под крылом – продол-

говатый, ржаво-рыжий разрез в зелёной чаше, шириной в несколько сотен метров и длиной, уходящей за пределы зрения. Карьер. Обнажённая глина, вывернутая наружу из-под дёрна, как подкожный жир из-под рассечённой кожи, блестела на солнце мокрой, красновато-бурой поверхностью. По краям разреза торчали вырванные с корнем деревья – их корни, белые, обнажённые, похожие на кости старого скелета, указывали в небо. Рядом с карьером змеились грунтовые дороги, прорезанные гусеницами тяжёлой техники – бульдозеров, экскаваторов, самосвалов, – и эти дороги, узкие, извилистые, сливались в уродливую паутину, опутывающую открытую рану.

Второй шрам – южнее. Больше. Глубже. Это было уже не похоже на разрез, это был огромный кратер, выбитый в земле с такой жестокой эффективностью, что даже с высоты восьмисот метров Лео видел ступенчатые террасы, уходящие вниз спиралью, – как улитка, вывернутая наизнанку. На самом дне кратера стояла мутная, зеленовато-жёлтая вода, похожая на гной. Вокруг, как муравьи вокруг раздавленного плода, копошились жёлтые точки экскаваторов.

Третий. Четвёртый. Пятый.

Раны множились, чередуясь с нетронутыми участками леса, – и в этом чередовании была какая-то зловещая закономерность, ритм бессмысленного, повторяющегося насилия. Лес пытался затянуть повреждения: по краям карьеров ползли первые, робкие побеги – светло-зелёные, жалкие,

неуместные, – но это был детский пластырь на ампутации.

– Недра Конго, – Реми сидел напротив, болезненно бледный, с туго затянутым ремнём безопасности, который он не расстёгивал с момента взлёта. Француз не смотрел в иллюминатор: он закрыл глаза и прижимал к носу комок ваты, смоченный нашатырным спиртом, – от укачивания. – Кобальт, медь, уран, колтан. Земля здесь беременна металлами, и её вспарывают, как вспарывают живот кесаревым сечением. Только ребёнка из неё не извлекают.

– Реми, заткнись, – Сара Хёйбрехтс сидела позади них, у правого иллюминатора, и произнесла это спокойно, без раздражения, как произносят команду человеку, чьи привычки давно стали предсказуемыми.

Сара. Пятьдесят два года – она сама об этом сказала при первой встрече в аэропорту Нджили, без всякого стеснения, протягивая Лео крупную, загрубевшую ладонь: «Пятьдесят два, два раза пережила Эболу, один раз малярию с комой, один раз развод. Считайте, что меня не берёт ни одна зараза на свете». Родом из Брюгге. Фламандка. Низкая, широкоплечая, с короткими седыми волосами и лицом, которое тропическое солнце двадцати лет работы в Африке превратило в старую кожаную карту: морщины, пигментные пятна, ссадины, – но под этой картой скрывалась хрящевая, негибкая структура. Она смотрела на мир глазами человека, который давно перестал удивляться и начал просто считать: количество трупов, процент летальности, дозировку, координаты.

Сара прилетела в Киншасу неделей раньше Лео и Реми – из Гомы, где она закрывала предыдущий проект ВОЗ, – и провела эти дни в министерстве здравоохранения, выбивая разрешения, транспорт и лабораторные реагенты. Она уже знала Верхнюю Катангу: в две тысячи девятнадцатом она работала в очаге в Манono, где Эбола унесла двести двенадцать жизней за три месяца. Она помнила каждого по имени.

– Семнадцать карьеров, – Сара подалась вперёд, вглядываясь в свой иллюминатор. Её голос был ровным, хирургическим. – Я насчитала семнадцать с момента, как мы перелетели Луалабу. Из них, по меньшей мере, пять – незарегистрированные. Кустарная добыча. Без лицензий, без экологических протоколов. Контрабанда.

Пилот – местный, молчаливый парень в мятой форменной рубашке с нашивкой ООН – резко дал правый крен, и джунгли качнулись за иллюминатором, как зелёная воронка. Лео почувствовал, как медный браслет на его правом запястье медленно сдвинулся, ударив по косточке. Он машинально накрыл его ладонью – металл был холодным, неестественно ледяным, словно всё утро впитывал в себя не только зной, но и глухую прохладу.

Джунгли кончились.

Это случилось внезапно, почти цинично: на протяжении нескольких секунд сплошная зелёная стена расступилась, обнажив ровный, выжженный пяточок земли, – и посреди этого пятка, как бледный шрам на тёмной коже, лежала

полоса аэродрома. Узкая, короткая, с потрескавшимся асфальтом и ржавыми, почерневшими от жары бочками, обозначающими края ВПП. Вокруг аэродрома – ни деревни, ни дома, лишь редкие, обглоданные термитами пни и россыпь гильз, поблёскивающих в пыли.

Посадка была грубой. Шасси ударились о разбитый асфальт, «Цессна» подпрыгнула, проскользила, зарычала тормозами и остановилась в тридцати метрах от ангарной постройки – бетонного куба, из которого торчала ржавая антенна.

Лео расстегнул ремень и посмотрел в иллюминатор.

У края ВПП стояли три человека в военной форме – камуфляж, берцы, автоматы Калашникова за спинами. Один держал рацию, двое других просто стояли, неподвижные, как вкопанные, в тени единственного дерева – жалкого, кривого баобаба, единственного живого существа, которое согласилось расти на этом выжженном пятачке. Они сверлили прибывших угрюмыми, недобрыми взглядами.

– Военные? – Лео повернулся к Саре.

Она уже стояла в проёме, стягивая с верхней полки свой потёртый рюкзак.

– FARDC, – бросила она, не оборачиваясь. – Армия Демократической Республики Конго. Насколько можно назвать это армией. Здесь, Лео, правительство не доверяет местным, местные не доверяют правительству, и никто из них не доверяет нам. В прошлую вспышку толпа с мачете сожгла по-

левой госпиталь дотла, потому что пустили слух, будто ВОЗ специально заражает колодцы, чтобы очистить земли под рудники. Так что без военного сопровождения белый врач в Верхней Катанге – это мишень, а не гуманитарий. Эти парни здесь для того, чтобы нас не разорвали на куски до того, как мы успеем взять первый мазок крови.

Реми, бледный, с мокрым от пота лбом, протиснулся мимо неё наружу и жадно вдохнул горячий, пахнущий травой и выхлопными газами воздух.

– Добро пожаловать в рай, Гонзалес, – он пошатнулся, ухватившись за стойку двери. – Официальный, сертифицированный рай. С вооружённой охраной.

Военный с рацией – капитан, по нашивкам, – подошёл к ним, не улыбаясь, и заговорил по-французски. Быстро, горланно, с оброненными окончаниями. Лео разобрал не всё, но хватило: сопровождение, безопасность, следовать за ними, не отходить от колонны, не фотографировать.

Тем временем двое солдат и четверо гражданских, появившихся откуда-то из-за ангара, уже выгружали из багажного отсека «Цессны» контейнеры с оборудованием. Лабораторные чемоданы, запечатанные пластиковые ящики с реагентами, складной стол, портативный секвенатор, морозильный блок – всё это перекачёвывало в кузов зелёного армейского грузовика «Мерседес-Бенц» старой, ещё бельгийской модификации, с рваным тентом и ржавыми бортами. Солдаты работали молча, с выученной серьёзностью, как если бы

каждый контейнер мог взорваться.

– Гонзалес! – окликнул капитан, указывая на грязно-бежевый «Тойота Лэнд Крузер» 70-й серии, стоявший в тени ангара. Дизельный мотор урчал на холостых, от машины разило соляжкой и прелой кожей. – Ваш транспорт.

Лео забрался на заднее сиденье рядом с Сарой. Реми – вперёд, рядом с водителем – местным парнем лет двадцати, с плоским, непроницаемым лицом и мускулистыми предплечьями, покрытыми тонкими белыми шрамами – такими не бывают следы травм, скорее это ритуальные надрезы. Он не обернулся, не представился. Просто включил передачу, и «Крузер» двинулся по пыльной колее, минуя аэродромные ворота.

Дорога заняла около часа мучительной тряски по изрытой колее, рассекающей непрерывный зелёный тоннель джунглей. Деревья нависали над капотом, сплетая кроны в сплошной, дышащий коридор. Свет пробивался редкими, колющими осколками, роняя на грязный капот золотые монеты. Пыль, поднятая шинами, застревала в этой зелёной воронке, не рассеиваясь, оседая на листьях серой вуалью.

Потом деревья расступились – снова, как расступаются стены, – и перед ними открылся Бата Колé.

Это было не село и не город. Это было что-то между – нежеланное, незапланированное поселение, которое жизнь выбросила на поверхность, как выбрасывает тело инородный предмет – по какой-то чудовищной, механической необхо-

димости, а не по доброй воле. Шахтёрский посёлок. Два ряда бетонных строений, крытых волнистым шифером, – казармы, построенные ещё при Мобуту, – перемежались с самодельными хижинами из необожжённого кирпича, гофрированного железа и мешковины. Между ними, в грязных, вытопанных проулках, бродили куры и голые дети. Тонкий, едкий запах горелой резины и прокисшей воды стоял в воздухе, как плёнка, не пропускающая чистый кислород.

А за посёлком, на расчищенном от зарослей холме – лагерь.

Полноценного госпиталя здесь ещё не развернули. Четыре белые палатки, растянутые на алюминиевых каркасах, с алыми крестами на брезентовых стенах, – красная зона, обнесённая двойным кордоном из ярко-жёлтой пластиковой сетки. Рядом – две палатки поменьше, без маркировки, с утяжелённым входом, откуда тянуло фенолом и хлоркой – морг, над которым тяжело и непрерывно гудел дизель-генератор, питающий рефрижератор. И в стороне, под навесом из камуфляжной сетки, – несколько жестяных строительных вагончиков, стоящих в ряд, как контейнеры на забытом причале. Зелёная зона. Жильё.

Лео вышел из «Крузера», и его ноги увязли в тёмно-оранжевой, маслянистой грязи. Земля здесь была другой – не землёй, скорее глинистой жижей, смесью пролитого дизельного топлива, дождевой воды и чего-то третьего, глубинного, древнего, что сочилось из недр, как сукровица из плохо

перевязанного бинта.

Из дальнего вагончика вышли два человека.

Дзузу Кома – невысокая, жилистая, с быстрыми, птичьими движениями, в засаленном медицинском халате поверх джинсов и резиновых сапог. Ей было лет тридцать пять, может, чуть старше – но годы работы в провинциальных госпиталях Конго прибавляют к возрасту столько же, сколько войны. Тёмная кожа лица была подчёркнуто гладкой, без единой морщины, и на этом гладком, неподвижном лице, её зрачки – крупные, янтарные, с чуть желтоватым белком – казались чрезмерно живыми, чрезмерно внимательными, как зрачки хищной птицы, высматривающей добычу в высокой траве. Она не улыбнулась.

Лукала Мбуи стоял рядом, чуть позади, – высокий, сутулый, в мятой белой рубашке, закатанных до колен брюках и босоножках. Сорок лет. Лицо – вытянутое, с глубокими носогубными складками и ввалившимися щеками – принадлежало человеку, который давно забыл, как выглядит полноценный приём пищи. Глаза, тёмные, мутноватые, под опухшими веками, смотрели на прибывших с тем выражением, которое Лео уже встречал в подобных местах: не враждебностью и не радостью – усталым, тихим отчаянием профессионала, который слишком долго работал один.

– Рады, что вы добрались. Доктор Кома, – она коротко пожала Лео руку. Её ладонь была горячей, сухой, шершавой. – Доктор Мбуи. Ситуация скверная. У нас два трупа в ре-

фрижераторе и один тяжёлый пациент в изоляторе.

Лукала кивнул. Не подал руки. Его взгляд скользнул по Лео, зацепился за медный браслет на правом запястье и задержался на долю секунды дольше, чем принято. Потом отвернулся.

Дзузу Кома повела их в вагончик, служивший одновременно кабинетом и складом. Внутри – стол, два стула, карта региона на стене, приколотая кнопками, и стопка папок, перевязанных бечёвкой. Дзузу откинула створку жестяного окна: мутный свет хлынул внутрь, осветив парящие в воздухе пылинки.

Реми тут же достал блокнот, утратив всю столичную вальяжность: – Давайте по порядку. Нулевой пациент?

– Два трупа, – начала Дзузу без прелюдий, как начинают хирурги, привыкшие к тому, что каждая секунда задержки стоит чьей-то жизни. – Первый – неизвестный мужчина. Белый, около тридцати–тридцати пяти лет. Обнаружен четыре дня назад местным охотником в лесу, примерно в трёх километрах к югу от деревни. Без документов, одежда в клочья. Охотник притащил его в деревню на себе. Через сутки неизвестный скончался от массивного внутреннего кровотечения и отказа органов.

Она развернула папку и положила на стол распечатанные фотографии. Лео наклонился. Тело лежало на серо-зелёном брезенте, в тени дерева. Мужчина – худощавый, с широкой грудью и с короткими, мускулистыми ногами как у любителя

бега, с лопнувшими водяными мозолями на ладонях – был мёртв уже несколько часов к моменту съёмки. Лицо почернело. Рот открыт. Руки вытянуты вдоль тела, пальцы скрючены. На груди и животе – тёмные, почти чёрные пятна, подтёки, экхимозы.

– Второй, – продолжала Дзузу, – сам охотник, Касонго Мпала, тридцать восемь лет. Деревенский. Нашёл тело, сообщил старосте, вернулся домой. Через двадцать три часа – жар, рвота, диарея. Ещё через двенадцать – кровотечения из дёсен и носа. Умер сегодня утром, через сорок восемь часов после контакта.

– Классика геморрагической лихорадки, – кивнула Сара.

– И да, и нет, – тихо вставила Дзузу, словно взвешивая каждое слово. – Симптоматика совпадает, но скорость распада тканей аномальная. И кровь... Она не несворачиваемая и алая. Она нетипично тёмная. Почти чёрная и густая, как дёготь. Я за пятнадцать лет работы ничего подобного не видела. Это конечно может быть геморрагическая лихорадка, но мы не можем подтвердить Эболу без лабораторного анализа. У нас нет ПЦР-оборудования. Мы ждали вас.

– А третий? – спросил Реми.

Дзузу и Лукала переглянулись.

– Шахтёр, – ответил Лукала, заговорив впервые. Его голос был низким, приглушённым, с тихой, гортанной вибрацией, которая, казалось, зарождалась не в горле, а где-то в глубине грудной клетки. – Парень лет двадцати, из местной кустар-

ной артели. Помогал переносить тело охотника. Три дня назад – температура, озноб, боль в мышцах. Вчера – кровоточивость дёсен, сыпь. Мы его изолировали, но полноценный анализ не проводили. Он в красной зоне, стабилен, в сознании. Но его коллеги начали паниковать. Несколько шахтёров отказались выходить на смену. Охрана рудника усилила периметр.

– Охрана? – Лео присел на свободный табурет, вытягивая перед собой ноги и чувствуя, как браслет давит на сустав. – Вы упомянули рудник. Белый мужчина в глухом лесу без документов... Откуда здесь вообще белые?

– Компания называется IC Waze, – сказала Дзузу, возвращаясь к столу. – Частная. Израильская. Добывают медь и кобальт. Лицензия – на двадцать лет. Участок – в шести километрах к северу от Бата Колé. Собственная инфраструктура: жильё, электрические генераторы, дизельные склады, вертолётная площадка. У них своя охрана – тоже частная. Southbridge Security, зарегистрирована в Претории, но владельцы, говорят, из Румынии. Южноафриканцы. Бывшие военные. Они никого не впускают, и их люди не спускаются в Бата Колé. На наши запросы по радио они не отвечают.

– А откуда на их руднике мог оказаться неизвестный труп в лесу? – спросил Реми.

– Контрабандисты, – Лукала произнёс это слово как медицинский диагноз. – Мелкие копатели, «партизаны», как их здесь называют. Они проникают на территорию рудника

через джунгли, крадут руду, перепродают на чёрном рынке. Southbridge их ловит, но не всегда. Иногда находят тела со стрелковыми ранениями. Но этот погибший был без следов насилия. Ни пуль, ни ножевых ранений. Просто умер.

– Просто умер, – повторил Реми. – В лесу. Без одежды. Без документов. В трёх километрах от шахты, где работают израильтяне. И ни у кого нет вопросов.

Дзузу Кома посмотрела на него долгим, ровным взглядом.

– Вопросы, доктор Гайяр, – тихо произнесла она, – здесь задают только мёртвым. И только тогда, когда мёртвых становится слишком много.

Вечер опустился на Бата Колé внезапно, как падает занавес. Солнце – огромное, багровое, безжалостное – село за линию джунглей, и за несколько минут мир переключился с раскалённого белого на душный, тёмно-синий. Комары и мошкара набросились мгновенно, облепив открытые участки кожи плотной, жужжащей шалью.

Реми ушёл к себе в вагончик первым, бросив через плечо:

– Завтра в восемь начинаем. Конго не ждёт.

Сара задержалась в лабораторной палатке, распаковывая контейнеры и проверяя реагенты. Лео слышал сквозь тонкие брезентовые стены, как она бормочет что-то себе под нос – списки, цифры, коды пробирок, – в этом бормотании была утешительная, монотонная, почти материнская размеренность, от которой тревога отступала.

Вагончик Лео стоял крайним в ряду. Внутри – узкая кой-

ка, жестяной столик, табуретка, ржавая раковина с краном, из которого сочилась мутная, пахнувшая железом вода. Маленькое окошко без стекла, затянутое москитной сеткой. Лео бросил рюкзак на койку, стянул ботинки. Он подошёл к раковине, включил воду, ополоснул лицо. Вода была тёплой, с привкусом ржавчины и глины.

Он посмотрел на своё отражение в мутном, покрытом разводами куске зеркала, висевшем над раковиной. Спину под рубашкой нестерпимо жгло – четыре параллельные царапины, появившиеся утром под витражами собора в Киншасе, горели, как свежий ожог.

Медный браслет на запястье блеснул в полумраке. Лео постучал по нему костяшками пальцев – металл ответил глухим, низким звоном, который длился секунду дольше, чем должен был.

Он думал о ней. Об Имани. О том, как она исчезла из костёла – или, точнее, как Реми не видел, как она вышла. О её деревянном амулете, о её словах: «Я приеду туда вслед за вами... Это моя земля, Лео». О надписи на зеркале гостиницы – бордовой помадой, размашистым, уверенным почерком: «*Я найду тебя*». Эта надпись могла быть угрозой. Или обещанием. Или – что страшнее обоих – простой констатацией неизбежного факта. Но память об аромате её тела вытеснила всё.

Накинув на плечи лёгкую куртку и взяв ноутбук для настройки с портативным спутниковым терминалом Starlink,

Лео вышел из вагончика и направился в лабораторную палатку.

Ночь стояла тёмная, словно саван. Ни луны, ни звёзд – тучи, низкие, грузные, набухшие дождём, закрыли небо сплошным бархатным пологом. Воздух был густым, как ткань, – горячий, влажный, пропитанный запахом гниющей листвы, дизельного топлива и чего-то ещё – едва уловимого, кислого, органического, – того специфического запаха, который бывает разве что в местах, где рядом с жизнью лежит смерть.

Лео прошёл мимо двух солдат FARDC, стоявших у входа в зелёную зону. Они молча пропустили его, даже не повернув головы – фигуры, влитые в темноту, безликие, как камни.

Лабораторная палатка стояла в центре лагеря. Белый брезент тускло светился изнутри – Сара оставила на столе напольный фонарь, включённый в режиме тусклого рассеянного света, а сама уже ушла спать. Внутри пахло хлоркой и озоном. Портативный генератор, подключённый к палатке, жужжал тихо, ровно, поддерживая работу освещения и маленького кондиционера, который выдувал слабую струю сухого воздуха.

Лео собрал и нацелил на небо тарелку Starlink. Индикатор на роутере мигал зелёным – связь была.

Он сел за складной алюминиевый стол, включил ноутбук. Экран вспыхнул холодным голубоватым светом, осветив его лицо снизу холодным, неживым светом, так, как освещают

лица на допросе. Войдя в сеть ВОЗ, он открыл медицинскую базу данных, начал пролистывать последние отчёты из регионов: Мбандака – отрицательно; Гома – подозрение, не подтверждено; Кисангани – чисто; Лубумбаши – три случая геморрагической лихорадки, скорее всего Марбург. В стерильных таблицах Всемирной организации, буквы А, Т, G, С выстраивались в бесконечные хороводы, в сухие шеренги нуклеотидов, которые плясали, как белые мотыльки над телом Бенги, и в этой строгой генетической геометрии не было места для жалости – только для репликации.

Стоп. Теперь компания. IC Waze. Другой сервер, другая сеть, другой протокол.

Он набирал заметки, листал файлы, сверял координаты. Время тянулось вязкой и липкой патокой. Лео чувствовал, как устают глаза, как тяжелеют веки, как тело, измотанное перелётом, жарой и двумя бессонными ночами, начинает предательски отключаться – участок за участком. Сначала ушла концентрация. Потом – нить мысли. Потом – ощущение времени.

Он опустил лоб на скрещённые перед клавиатурой руки и заснул.

Не постепенно, не плавно – так быстро, как проваливается в обморок человек, потерявший кровь.

И тут же реальность в палатке исказилась.

Его прохватил нечеловеческий, пронизывающий мороз. В палатке стало так холодно, что выдыхаемый воздух пре-

вращался в плотный белый пар. Гул генератора за стеной изменился: механика пропала, остался лишь низкий, утробный, пульсирующий ритм – словно глубоко под землёй тяжело стонало гигантское существо. Запах хлорки испарился. Вместо него пространство заполнил густой, одурманивающий аромат цветущего ночного жасмина, сырой земли и ржавого железа. Аромат тропической крови.

Спину прожгла вспышка дикой боли – казалось четыре ссадины вспыхнули огнём. Медный браслет на запястье раскалился до ледяного ожога, въедаясь в кожу. Лео попытался встать, закричать, но тело сковал абсолютный, тяжелейший паралич.

Во сне – или в этой призрачной яви – он стоял в древнем, непроглядном лесу. Деревья росли так близко, что их стволы сливались в живую стену. Кроны закрывали небо целиком. Только тьма и мертвенный воздух, пахнущий гниением и тем самым цветом.

Лео шёл. Ноги несли его сами – босые, по мокрой земле. Он слышал чьи-то шаги рядом. Параллельным курсом, за стеной из лиан, кто-то тоже шёл: дыхание – лёгкое, ровное; шорох босых ног; и давящий, гортанный звук – как будто кто-то тянул одну-единственную ноту, вибрирующую в его грудной клетке.

Он вышел на поляну. На земле лежало тело – тот самый белый мужчина с фотографии Дзузу Кома. Чёрное, запёкшееся лицо, скрюченные пальцы. Тело было окружено коль-

цом крупных белых цветов с толстыми лепестками, растущих прямо из грязи под трупом.

Тело пошевелилось. Медленно, с мучительной неохотой, оно начало подниматься – не как человек, скорее как марионетка, которую тянут за невидимые нити: рывком, ломано, с хрустом суставов. Встав на четвереньки, оно повернулось к нему.

Но лица не было. На его месте находилась ровная, гладкая, тёмная поверхность – как экран, на который ещё не проецировали изображение. Ни глаз, ни рта. Лишь кожа, натянутая на череп, и под ней – слабая, едва заметная пульсация.

И тогда Лео услышал голос. Не ушами – изнутри, из собственного позвоночника, из рёбер:

– Ты пришёл...

Голос был её голосом. Не Имани. Не женским. Не мужским. Голос был запахом. Цветочным ароматом, превращённым в насыщенный звук, в котором тонуло всё его естество.

– Ты пришёл... И ты носишь его. Спи. Завтра. Всё завтра...

Темнота захлопнулась, как створки ловушки.

– Доктор! – резко раздалось над ухом.

Резкий, слепящий луч налобного фонаря ударил Лео в глаза.

Лео судорожно дёрнулся, с грохотом опрокинув стул, и тяжело, надрывно задышал, хватая ртом воздух. Сердце колотилось в горле.

Перед ним стоял солдат FARDC – тот самый, что дежурил у входа. Высокий, в камуфляже, с автоматом на груди. Он молча смотрел на него.

– Доктор? – переспросил солдат. Голос был ровным, без выражения. – Вы заснули. Уже второй час ночи. Идите отдыхать. Завтра у вас трудный день.

Лео вытер мокрое от холодного пота лицо. В палатке снова стояла удушающая тропическая духота, пахло хлоркой и ровно гудел генератор. Никакого мороза. Никакого жасмина. Позвоночник ломило, ноги были ватными.

Он кивнул, потянулся к ноутбуку, чтобы закрыть его. Экран находился в спящем режиме, но на чёрной поверхности – ровно над отражением его перепуганного лица – мелким белым шрифтом мерцала одна-единственная строчка, которой он не набирал и которой не могло быть в системе:

SHE KNOWS YOU'RE HERE

Лео резко моргнул и коснулся тачпада – строчка мгновенно исчезла. Обычная заставка. Обычный тёмный экран.

Он закрыл ноутбук, поднялся и вышел из палатки в непроглядную ночную тьму.

Лагерь спал. Единственный шум – монотонное урчание дизеля да далёкое стрекотание цикад за периметром. Лео сделал несколько шагов по грязной дорожке, поджимая ворот куртки. Его било мелкой, нервной дрожью – остаток того сна, того голого лица и голоса, который был запахом.

И тогда он замер.

Со стороны деревни Бата Колé, пробиваясь сквозь ночную тишину, доносился ритм.

Низкий, глухой, отчеканенный удар. *Тум...* Пауза. *Тум-тум.*

Барабаны.

Звук шёл из-за лагеря, из-за деревьев – далёкий, но чёткий, как биение чужого сердца. Ритм был странным – не привычный африканский полиритм, не тот сбивчивый рисунок, что Лео слышал в баре Киншасы. Это было другое. Два удара – пауза. Два удара – пауза. Ровных, тяжёлых, одинаковых по силе. Как шаги огромного существа, которое идёт по земле, не торопясь, зная, что ему некуда спешить.

К ритму барабанов примешивалось пение – низкое, хорошее, гортанное, на незнакомом языке. Мелодия проникала в Лео через кожу, через кости, – и внутри его грудной клетки что-то откликалось, вибрировало в унисон с этим ночным хором.

А затем из этого пения отделился один тон. Женский голос – высокий, чистый, пронзительный, тянущий одну-единственную ноту. Длинную, бесконечную, древнюю. В ней звучали первобытная тоска, фатальная неизбежность и ласковое обещание.

Лео сжал кулаки. Медный браслет впился в кожу запястья, давя на кость. Песня лилась внутрь в него, словно этот голос пел только ему одному.

Потом барабаны смолкли. Голоса растаяли. Ночь снова

стала тихой, одиноко-безмолвной – но эта тишина была живой. Казалось, она слушала его.

Лео дошёл до своего вагончика, открыл замок, зашёл и запер дверь изнутри на задвижку.

Он повернулся к койке, чтобы упасть на неё не снимая одежды, и внезапно застыл.

На жестяной тумбочке у изголовья – рядом с его телефоном и фонариком – стоял стакан воды. Полный, прозрачный, с короной мелких пузырьков на стенках.

Лео не наливал этого стакана. Когда он уходил в лабораторию, тумбочка была пуста, а дверь заперта на навесной замок.

Вода в стакане была тёплой.

А на её поверхности, плавно покачиваясь в самом центре, плавал один-единственный молочно-белый лепесток.

Крупный. Толстый. Незнакомый. Пахнущий ночью и цветущим жасмином.

Глава четвёртая. Симбиоз

Утро в Бата Колé наступало как атака врага, которую уже давно перестали ждать.

Сначала тишина. Абсолютная, звенящая, предрассветная тишина, когда даже цикады замолкают, выжидая. Потом первый луч, резкий, горизонтальный, вонзающийся в красную глину, как скальпель в плоть. И сразу за ним – жар. Нарастающий, подступающий, за считанные мгновенья, и тотальный. Воздух за несколько десятков минут вспыхивал температурой, и вагончик превращался в раскалённую жестяную коробку, из которой не было выхода.

Лео проснулся в восемь десять. Он помнил, что вчера упал на койку прямо в одежде и ботинках. Но сейчас лёгкое покрывало было аккуратно откинута, а ботинки стояли у ножки койки – ровно, подошвами к стене.

Он сел, протирая глаза. Потрогал спину. Крови не было.

На тумбочке стоял стакан. Пустой, вымытый до блеска и поставленный вверх дном на чистую салфетку. Белого лепестка внутри тоже не было – казалось, ночной гость вернулся, чтобы забрать своё приношение.

Посмотрев на экран телефона, Лео чертыхнулся. Шестнадцать минут девятого. Он проспал.

Схватив рюкзак, Лео выскочил из вагончика и бегом бросился к лабораторному комплексу. У входа в зелёный блок

его встретил доктор Лукала Мбуйи – высокий конголезец в синем хирургическом костюме, методично заполнявший журнал учёта биоматериалов.

– Доброе утро, Лео, – Лукала поджал губы, не отрываясь от планшета. – Если ты ищешь заступников, то их нет. Сара уже в лаборатории. И поверь, она зафиксировала твоё отсутствие ещё в восемь ноль-ноль.

Лео юркнул сквозь брезентовый полог. Внутри пахло тальком, спиртом, озоном и нагретой резиной. Старший эпидемиолог миссии, доктор Хёйбрехтс, стояла у микроскопа. Её седые волосы были туго убраны под одноразовую шапочку, а спина оставалась прямой, как у строевого офицера.

– Опоздал, Гонзалес, – произнесла она, не поднимая головы от окуляров. Голос Сары звучал без гнева, но с той ледяной констатацией факта, с которой объявляют диагноз. – Реми уже полчаса работает в изолированном блоке с Дзузу. Мы потеряли ценное утреннее время, когда температура в изоляторе ещё позволяет дышать.

– Я прошу прощения, Сара. Снотворный эффект... – попытался начать Лео.

– Извинения не стерилизуют инструменты и не останавливают репликацию филовировусов, – отрезала Хёйбрехтс, наконец повернувшись к нему. Её серо-голубые глаза за линзами очков фиксировали его, как предметный столик фиксирует препарат. – Я видела людей, которые опаздывали на смену в Киквите в девяносто пятом. Половина из них потом

легла в общие могилы, потому что спешка порождает брешы в защите. Одевайся. Лукала проконтролирует герметизацию.

Шлюз перехода в красную зону располагался под двойным брезентовым навесом. Здесь, на металлическом столе, лежали защитные комплекты высшей биологической защиты – запечатанные в прозрачные вакуумные пакеты, с инструкциями на четырёх языках.

Лео начал раздеваться. Пот – мгновенный, склизкий – тут же покрыл грудь и спину. Стянув джинсы и рубашку, он остался в белье на вытоптанном бетонном полу. Снял массивные стальные Casio и положил на край стола. Затем растегнул и снял обруч с запястья.

Медь соскользнула с кожи, и Лео невольно вздрогнул. Он почувствовал холод. Нет, скорее, ощущение внезапной физической утраты, словно с руки сняли живую присоску. На запястье осталась чёткая, побледневшая полоса – след от металла за ночь.

Дзузу Кома, стоящая у стойки проверки экипировки, сделала шаг вперёд. Её янтарные зрачки на секунду – буквально на пару мгновений – зафиксировались на медном браслете. Этот взгляд был лишён обычного любопытства: Дзузу посмотрела на амулет с глубоким, почти профессиональным узнаванием. Но уже через мгновение её лицо вновь стало непроницаемым.

– Ваш костюм там, доктор, – сухо сказала она и протянула ему руку, на ладони которой лежали два латунных ключа

на проволочном кольце. – Вот. Простите. Я вчера в суматохе забыла отдать запасные ключи от вашего вагончика. Они были у меня.

Лео взял ключи. Латунь была влажной от её кожи.

– Так это вы оставили стакан с водой?

– Да, – Дзузу кивнула, сохраняя птичью осанку. – Вчера вечером, когда вы ушли в лабораторию, я заметила, что окно было приоткрыто, набились насекомые. Я зашла проверить, всё ли в порядке, и увидела, что вы совсем не пьёте воду. В наших условиях обезвоживание наступает незаметно.

– А цветок? Белый лепесток в воде?

Дзузу чуть прищурилась, взвешивая, стоит ли объяснять.

– Костус. *Costus lucanusianus*, белый костус. Растёт только в самых глухих балках этих лесов, где почва никогда не пересыхает. Местные женщины заваривают его лепестки при сильных тревогах и лихорадке. В нём есть алкалоиды, действующие как мягкое седативное средство. Народная медицина, доктор Гонзалес. Иногда она работает не хуже бензодиазепинов.

– Да, я заметил... Спасибо, Дзузу.

– Не за что. А теперь надевайте защиту. Лукала, помоги ему.

Одевание костюма индивидуальной защиты Tyvek – это строгий, почти религиозный ритуал, где малейшая халатность означает приговор. Первыми шли плотные медицинские носки и бахилы. Затем – белоснежный комбинезон с

молнией от паха до горла. Ткань неприятно зашуршала, сразу перекрыв доступ воздуха к телу.

Мбуи подошёл сзади, ловко натягивая на Лео первую пару латексных перчаток, заправляя под них рукава комбинезона и тщательно проклеивая стыки армированным скотчем.

– Держи руку ровно, Лео, – проговорил Лукала, сноровисто наматывая липкую ленту. – В девяти случаях из десяти заражение происходит не из-за прорыва ткани, а из-за того, что какой-нибудь зазевавшийся вирусолог плохо зафиксировал манжету.

Затем массивные резиновые сапоги, вторая пара плотных нитриловых перчаток поверх первых. И, наконец, маска-респиратор 3М с парой серых коробчатых фильтров класса Р3 и прозрачным щитком.

Как только Лео затянул затылочные ремни и проверил герметичность – резко вдохнул, заставив маску вплотную присосаться к щекам, – внешний мир окончательно отдалился. Звуки превратились в глухое, ватное эхо. Единственным доминирующим ритмом стало его собственное хриплое дыхание, резонирующее внутри пластикового шлема.

– Добро пожаловать в белый мир, доктор Гонзалес, – произнёс Лукала из-под своей маски и хлопающим движением опустил брезентовый полог шлюза.

В изоляторе красной зоны воздух был плотным, горячим, насыщенным, пропитанным плотным запахом гипохлорита натрия, которым санитары заливали деревянный настил.

Реми уже стоял у первой койки. В своём белом скафандре, залитом галогенным светом, он казался огромным изваянием из тумана.

– Наконец-то, Лео, – глухо пробормотал Реми через динамик маски. – Я уже думал, ты решил взять выходной. Вглядишься в нашего парня.

– Мбул Бенга, – сказал Мбуи не глядя на больного. Его голос из-под маски звучал приглушённо, как из-за стены. – Двадцать один год. Шахтёр-партизан. Работал на кустарном участке в полутора километрах от рудника IC Waze. Помогал переносить тело первого погибшего.

Тонкий, жилистый, с впалой грудью и сухой тёмной кожей. На его шее, плечах и грудной клетке отчётливо проступали пятна – не классическая геморрагическая сыпь, а мелкая, тёмная петехиальная сетка, похожая на пролившийся под кожу сок диких ягод. Он был в сознании. Его крупные, воспалённые глаза с расширенными зрачками следили за каждым движением белых фигур. В этом взгляде совершенно не было паники – лишь глубокое, отрешённое внимание.

Лео достал электронный стетоскоп и приложил датчик к груди шахтёра, выведя аудиопоток на внутренний наушник шлема.

То, что он слышал, заставило его замереть.

– Реми... Дзузу... Вы это слышите?

Сердце билось с частотой шестьдесят два удара в мину-

ту. Для человека с температурой под сорок, с лихорадочным синдромом и признаками поражения сосудов это было физиологическим нонсенсом. Тахикардия должна была разрывать его грудь, заставляя миокард колотиться на частоте ста сорока ударов. Но пульс оставался невозмутимым и ровным.

Но главным было не это.

Вместо привычного чистокровного тона Лео слышал низкий, утробный, тяжело пульсирующий гул. Аорта работала с невероятной, гипертрофированной силой. На шее шахтёра, прямо над ключицей, была видна визуальная пульсация – кожа натягивалась и проседала в ритме, который казался слишком объёмным для человеческого тела.

– Я слушаю его с самого утра, – промолвил Реми, наклонясь ближе. – Это не обычная регургитация. Послушай основание. У тебя нет ощущения, что там... два источника ритма?

– Именно, – подтвердила Дзузу, стоявшая с планшетом у изголовья. – Вчера на портативном УЗИ я не нашла анатомического разрыва клапанов. Стенка аорты утолщена, но сохраняет целостность. Однако сердце качает кровь так, словно внутри него установили дополнительный гидронасос. Оно не справляется с разрушением – оно... адаптировалось?

Лео сместил датчик ниже, к эпигастрию. Низкочастотный шум отдавался в его собственном слуховом канале, и на секунду Лео почувствовал странную, тошнотворную тоску: его собственное сердце внутри скафандра попыталось сбиться,

подстраиваясь под этот другой, чужеродный ритм.

– Ладно, – тяжело вздохнул Лео. – Пошли в рефрижератор. Нам нужно сравнить это с мёртвыми.

Второй блок красной зоны – секционный морг – располагался в отдельной палатке, оснащённой двумя холодильными контейнерами. Холод вырвался наружу густым белым паром, затуманив щиток маски.

На стальных столах лежали два тела: белый мужчина, найденный в лесу, и местный охотник Касонго Мпала.

Разница между живым шахтёром и этими двумя носила катастрофический характер.

– Здесь вирус сработал как классический детонатор, – произнёс Реми, помогая Лео зафиксировать край секционного разреза. – Тотальный некроз. Посмотри на печень.

Лео сделал глубокий надрез. Скальпель вошёл в ткани с тихим, влажным хрустом. Печень белого мужчины была увеличена вдвое, потеряла всякую структуру и напоминала варёную, полуразрушенную массу с мускатным рисунком на разрезе. Брюшная полость была заполнена полутора литрами чёрной, несвернувшейся крови, похожей на отработанное моторное масло. Сосуды распались, эндотелий был уничтожен подчистую.

Но когда Лео добрался до грудной клетки и вскрыл перикард, он остановился.

– Сара должна это видеть, – с дрожью в голосе процептал Реми.

Аорта умершего белого мужчины была расширена по всей протяжённости – от корня до дуги – примерно на двадцать процентов. Стенки сосуда выглядели невероятно плотными, отёчными, а на их внутренней поверхности проступали мелкие узелки, похожие на перламутровые рисовые зерна. В них не было следов обычного кальциноза или атеросклероза. Ткань стенки имела странный, перламутрово-фиолетовый оттенок, напоминающий раковину моллюска.

Лео аккуратно отрезал три фрагмента: для формалина, для заморозки и для ПЦР-анализа.

– У охотника то же самое? – спросил он.

– Один в один, – ответил Реми, указуя кивнув на второе тело. – Молниеносная смерть за сорок восемь часов, разрушенные внутренности, чёрная кровь... и перестроенная, гипертрофированная аорта с узелками.

К трём часам дня в зелёном блоке лаборатории собрался весь врачебный состав. В воздухе стоял гул портативного секвенатора DNA-MinION, пахло хлоркой и креозотом. Сбросив свои скафандры, врачи сидели вокруг рабочего стола в промокших от пота хирургических пижамах.

Хёйбрехтс изучила свежую распечатку геномного анализа. Её палец с коротко стриженным ногтем прошёл по графике нуклеотидной последовательности.

– Это филловирс, без всяких сомнений, – произнесла она. Голос Сары был сух, но в нём проступало напряжение, которого Лео не замечал у неё раньше. – Посмотрите на струк-

туру белкового каркаса. РНК, гликопротеиновая оболочка – всё указывает на семейство *Filoviridae*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.